

БЕСКОНЕЧНЫЙ — НОЯБРЬ — ДУШИ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

ПАРХОМ ТЫПОПО

Пархом Гыпопо

Бесконечный ноябрь души

<https://litres.ru/74284614>

SelfPub; 2026

Аннотация

Если долго стоять голыми ногами на грязном кухонном кафеле, можно насмерть простудить романтическую душу.

Этот текст — о столкновении бесконечного экзистенциального ноября с чугунной сковородкой быта. История о том, как тончайшая архитектоника нежности пытается выжить в условиях агрессивной физиологии и тотального сквозняка. Роман о том, что под самым толстым слоем цинизма и пыли всегда прячется пронзительное желание тепла.

Читать стоя. Желательно в шапке.

П.С. Хармс тут не живёт. Он сюда заглядывает. Часто. Через замочную скважину.

Примечания автора: Даниила Ивановича с нами уже давно нет. Его персонажи рождались уже мёртвыми. Они ходили, падали, вставали, но начинкой они механизмы.

Прошло время, и эти холодные персонажи остыли окончательно. Но стиль Даниила Ивановича остался.

Наш стиль называется «Пока ещё тёплый Хармс». Потому что Даниила Иванович поселился в душах наших героев.

Пархом Гыпопо

Бесконечный ноябрь души

Бесконечный Ноябрь Души



Пролог

Световые годы одиночества.

Комета летела сквозь бархатную пустоту, оставляя за собой ледяной шлейф. Вокруг — холод, тьма, безупречная геометрия. Ни звука. Ни движения. Только мерное скольжение сквозь вечность.

Красиво.

Пусто.

Одиноко.

— А хер ли!

Свернула.

К огоньку. К голубому, мокрому. суетливому.

К планете, которая вертелась вокруг жёлтого карлика, как блоха на лысине.

Телескоп вздрогнул.

Он вздрагивал редко. За сорок лет службы в обсерватории имени Коперника на мысе Нордкин — самой северной точке континентальной Европы, где ветер имел привычку дуть не в лицо и не в спину, а сразу во все стороны, — телескоп усвоил главное: небо не торопится. Звёзды стоят. Планеты ползут. Кометы — те хотя бы делают вид, что спешат, но врут.

Эта не врал.

Она шла быстро, наискось, по траектории, которую ни один из четырёх каталогов не предусмотрел. Спектрограф

выдал полоску, похожую на кардиограмму человека, которому только что сообщили о наследстве. Дежурный астроном — финн с фамилией из четырнадцати букв и лицом из трёх выражений — записал в журнал: «Аномалия. Природа неясна. Ширина полосы не соответствует». Подумал. Дописал. «Ничему не соответствует». И пошёл варить кофе, потому что в четыре часа утра на мысе Нордкин кофе — единственное, что соответствует.

В ту же ночь на станции «Новая Земля-3» — бетонном кубе, вросшем в вечную мерзлоту по самые антенны, — осциллограф, обычно рисовавший линию с прямою и скукой партийного отчёта, вдруг выдал зигзаг. Короткий, острый, похожий на кошачью царапину. Дежурный — лейтенант, третий месяц отбывающий полярную вахту как личное оскорбление, — протёр глаза. Зигзаг не повторился. Лейтенант записал: «Помеха. Предположительно атмосферная». Потом зачеркнул «атмосферная» и написал «хрен знает какая». Потом зачеркнул и это, и написал «атмосферная». Журнал принял обе версии молча.

В Южном полушарии, на плоскогорье Кару, где небо ночью становится таким чёрным, что звёзды кажутся дырками в потолке, радиотелескоп MeerKAT — шестьдесят четыре тарелки, расставленные по пустыне с аккуратностью шахматных фигур, — поймал всплеск на частоте, которая офи-

циально считалась пустой. Всплеск длился одиннадцать секунд. За эти одиннадцать секунд шестьдесят четыре тарелки синхронно повернулись на три градуса к востоку, словно шестьдесят четыре подсолнуха, учувших чужое солнце.

Наутро три обсерватории на трёх континентах обменялись данными. Данные не совпали. Это было нормально. В астрономии несовпадение — рабочее состояние вселенной.

Объекту присвоили временный индекс, занесли в реестр и забыли, как забывают имя попутчика в поезде, с которым проговорили всю ночь.

Объект не обиделся.

Он уже улетел.

В ту ночь — а это была ночь с четверга на пятницу тринадцатое, декабрь, перед Новым годом — в ту ночь небо над городом на несколько секунд стало другим. Не ярче. Не темнее. Не для всех. Просто — другим. Как комната, в которой переставили мебель: всё на месте, а что-то сдвинулось.

ooo

Фи́ра Адольфовна Лось-Швы́дкая стояла на балконе четвёртого этажа в Рыт-Вине и смотрела на море. Море было чёрным и равнодушным, как сковорода, которую забыли на плите. На сковороде — настоящей, не метафорической — дожаривались баклажаны. Фи́ра Адольфовна жарила бакла-

жаны с частотой и неизбежностью прилива: каждый четверг, в девять вечера, на оливковом масле, с чесноком, нарезанным так мелко, что он переставал быть чесноком и становился намерением.

Она стояла в накидке — той самой, кружевной, с бахромой, которая прежде лежала на кушетке в комнате на Фонтанке. Накидка уехала. Кушетка — нет. Очки держались на носу силой характера.

Фира Адольфовна смотрела на небо и думала. О членистоногом. Или об ушедших годах.

Не о конкретном таракане, а в целом, хотя конкретный, целый имелся, и она знала о нём больше, чем следовало знать приличной женщине о насекомом. Она думала о нём вообще, как о факте, который остался в прошлой жизни. Где-то там, в сыром, холодном городе на Неве, в коммуналке, которую она покинула пять лет назад, за плинтусом, за трубой, в щели между стеной и паркетом — там жил тот, которого она сорок лет называла «этот мерзавец» и которому сорок лет оставляла крошку у ножки кушетки. Одну. Ровно одну. Каждый вечер. Ритуал, о котором она не рассказала бы даже под присягой. Если вы подумали о покойном муже Г. Лось - Швыдком, то нет. Тот был просто оленем.

Что-то мигнуло.

Высоко, левее луны, чуть выше линии, где небо кончалось и начинался Рыт-Вин. Быстрое, косое, неяркое. Как росчерк

мела по школьной доске, если бы доска была чёрной, а мел — голубым.

Фира Адольфовна поправила очки. Прищурилась. Пожала плечами.

— Ну и что, — сказала она морю.

Море не ответило. Баклажаны на сковороде зашипели. Фира Адольфовна вернулась на кухню, перевернула их лопаткой с точностью хирурга и подумала, что этому мерзавцу баклажаны понравились бы. Не потому что вкусные. А потому что тёплые.

Она тряхнула головой, отгоняя мысль, как муху. Мысль не улетела.

ooo

Гоча стоял на балконе и курил.

Сигарета тлела медленно — дешёвый табак, кислый, таковой, от которого дед Вахтанг отвернулся бы к стене. Дед курил «Казбек». Дед курил так, что дым уходил вверх ровной струёй, как будто и у дыма был хребет.

У Гочиного дыма хребта не было. Гочин дым расползался, цеплялся за перила и неохотно умирал.

Внизу — двор, детская площадка, ничья машина с разбитой фарой. Вверху — небо. Обычное. Декабрьское. Тёмное, как дно кастрюли.

Гоча курил и думал о Тamarочке.

Нет, не так. Гоча не думал о Тamarочке. Гоча знал Тamarочку. Это разные вещи. Думать — в голове. Знать — в рёбрах. Он знал её руками, рёбрами, тем местом под ложечкой, откуда иногда больно без причины. Четыре с половиной года без причины.

В спальне, под матрасом, лежали его трусы, вывернутые наизнанку. На тумбочке — колпак. В далёкой горной Скотландии было поверье. Поверье было далеко, а трусы — близко.

Гоча докурил. Щелчком отправил окурок в темноту. Окурок описал дугу, мигнул и погас.

И в этот момент — выше, левее, наискось — по небу прошло что-то. Быстрое. Голубое. Беззвучное.

Гоча замер с вытянутой рукой.

— Э...

Прозвучала только это. Одна букву. И постояв ещё немного, глядя в пустое небо,

ушёл с балкона. Лёг. Натянул колпак. Закрыв глаза. Тamarочка рядом дышала ровно и тепло, как печка, в которой ещё живут угли.

Кукушка на кухне, за стеной хлопнула дверцей и промолчала. Было без пяти двенадцать. До полуночи пять минут — слишком мало для целого «ку-ку» и слишком много для тишины.

Таракан вылез на крышу.

Этого не должно было произойти. За всю свою жизнь — а жизнь его, по тараканьим меркам, тянулась на геологическую эпоху — старожил ни разу не поднимался выше чердачной балки. Мир наверху был не его мир. Там было открыто, холодно и пусто. Там не было плитусов. Существо, чья навигация строилась на принципе «левый ус — стена, правый ус — стена, между ними — жизнь», не имело причин туда подниматься.

Но в ту ночь что-то изменилось. Он решил посмотреть на звезды.

Вентиляционная труба, через которую он выбрался, была ржавой, узкой и вела вверх с упрямством водопроводчика, лезущего на чужой этаж. Старожил полз по её внутренней стенке, прижимаясь брюхом к тёплому металлу. Наверху дыра кончилась, и началось небо.

Усы вышли первыми. Левый — настороженно. Правый — с недоумением.

Холод ударил сразу, со всех сторон, без предупреждения. Не тот привычный сквозняк из-под двери, к которому можно притерпеться, а настоящий, уличный, непереговорный. Под лапами — жёсть. Мокрая. Скользящая. Ни одного знакомого запаха, кроме далёкого, едва уловимого — лаванда. Откуда-то снизу, из щели, из памяти.

Он замер на краю трубы.

И поднял усы.

Впервые в жизни — вверх. Не влево, не вправо, не вдоль плинтуса. Вверх, в пустоту, в которой не было ни стен, ни потолка, ни запахов, только бесконечная, ледяная, равнодушная чернота.

До звёзд они не дотянулись. Чуть чуть.

В этой черноте — далеко, так далеко, что расстояние теряло смысл.

Что-то мигнуло.

Усы стали спиральками. На одно мгновение. На долю секунды, которую ни один энтомолог не зафиксировал бы, даже если бы стоял рядом с лупой и блокнотом.

Потом усы распрямились. Старожил развернулся и полез обратно в трубу.

На крышу он больше не возвращался.

ooo

Антон стоял у окна.

За окном — крыши. Мокрые, покатые, уходящие в темноту, как спины уснувших животных. Где-то вдалеке, в разрыве между домами, торчал Шпиль. Тонкий, золотой, уверенный в себе. Шпиль знал, зачем он здесь. Шпиль всегда знал.

Синенький не знал.

Ноутбук на топчане светился. Экран с анкетой мигал кур-

сором в графе «О себе». Курсор ждал. Курсор был терпелив.

Синенький написал: "...в равной пропорции смешать кубики пресса с кубиками мозга, а затем растворить в океане безбрежной нежности и томить на огне желания..."

Перечитал. Хвост распушился. Тёплый, пушистый, самодовольный — павлиний хвост, который он научился распознавать, но так и не научился не распускать... продолжил печатать: "...добавить щепотку искренности, две обаяния и столовую ложку стервозности, для придания лёгкой, но отчётливой горчинки индивидуальности и обязательно дать отстояться в прохладе мудрости... наслаждаться мной желательно не спеша, и через трубочку..."

Хвост поднатужился и раздвинулся ещё. На две октавы брачного гона.

Он встал. Встряхнулся. Подошёл к окну. Оттуда — холодом, декабрём, чужими жизнями за стенами.

Не то.

Сиськи, попа, ноги, глаза с поволокой — всё это было в анкете. Весь список. Галочка, галочка, галочка. А внутри, под списком, в том месте, где живот кончается и начинается что-то, чему названия нет, — там было другое.

Ему нужно утро. Не жар.

Что-то, ради чего варят два кофе.

Он стоял у окна и смотрел на Шпиль, когда по небу — быстро, косо, беззвучно — прошла полоска света.

Синенькая.

Он моргнул.

В голове — тихо, на самом дне, там, где мысли ещё не мысли, а только намерения мыслей, — что-то шевельнулось. Не мысль. Не чувство. Щелчок. Как будто кто-то повернул тумблер, которого раньше не было.

— О синенько стало. Сказал вслух Синенький. Он посто-
ял ещё. Зевнул. Вернулся к топчану. Лёг.

Топчан принял тело молча. Доски — грубые, честные, сосна. Потолок — жёлтый овал от лампы. Трещина от угла к люстре. Мухи.

Глаза закрылись.

ooo

Где-то в городе — на другом конце, в другой жизни, в комнате с высокими потолками и старым шкафом, который давно ушёл из большого спорта, — девушка сидела на подоконнике и прижимала к себе скрипку. Не играла. Просто держала. Как держат грелку, или письмо, или руку.

Она смотрела в окно.

По небу прошло что-то. Быстрое. Голубое.

Девушка сняла очки — большие, круглые, в которых её лицо казалось меньше, чем было, — протёрла стекло краем свитера. Надела обратно. Мир вернулся в резкость.

— Фира Адольфовна говорила, что на падающие звёзды нужно загадывать быстро, — сказала она скрипке.

Скрипка промолчала.

Девушка загадала.

Ночь кончилась, как кончаются все ночи, — серой пошлостью зимнего утра.

Город проснулся и не заметил, что изменился.

Или не изменился.

Рассказчику всё равно.

1.

Кафельный пол был щербат, холоден и грязен...

Стена вздрогнула.

Это был не тот привычный гул, что поднимался из труб по утрам, — трубы гудели честно, предупреждая заранее, как порядочные. Это был удар. Короткий, утробный, с вибрацией, которая прошла по кафелю, добралась до плинтуса и ткнула в щель между стеной и полом — туда, где в тёплой темноте, свернувшись между пылью и трубой, спал тот, кого будить не следовало.

Усы дрогнули первыми. Левый — настороженно. Правый — с раздражением. Разница была ничтожной, но существу, прожившему в этой квартире дольше всех её нынешних обитателей, она говорила о многом.

Он выполз.

Медленно. С достоинством, на которое имеет право только тот, кто пережил три ремонта, два затопления и одну эмиграцию.

Да. Кафельный пол был шербоат, холоден и грязен — но грязен по-новому, бестолково, без той густой, хозяйственной грязи, которая копилась при Фире Адольфовне, — грязи со смыслом, грязи с характером. Нынешняя грязь была рассеянной и одинокой. Грязь людей, которые не знают, зачем моют пол, и потому не моют.

Впереди, в жёлтом свете, выцеженном скупым плафоном, возвышались они.

Пятки.

Огромные, тёплые, слегка потрескавшиеся по краям. Они упирались в кафель не всей плоскостью — нет, — а задней частью, толстокожей и самоуверенной.

К пяткам крепились ступни — длинные, с высоким подъёмом. Передняя часть висела в воздухе, выставив вперёд пальцы, скрюченные, как пальцы пианиста, забывшего, на каком инструменте играет.

Ногти на пальцах были обрезаны давно и небрежно — так рубят сучья, когда торопятся. Один, на мизинце, задрался вверх и подрагивал, будто принюхивался к сквозняку.

Усы качнулись.

Возможно — только возможно — в этом качании содержался импульс, который на тараканьем языке означал нечто среднее между любопытством и искушением. Пощекотать. Провести кончиком по тёплой, доверчиво выставленной коже. Просто так. Потому что можно.

Но существо, пережившее Фиру Адольфовну Лось-Швыдкую — женщину, чей тапок обладал скоростью и точностью крылатой ракеты, — знало цену легкомыслию. Усы убрались. Лапы выбрали маршрут подальше.

Выше пяток громоздилось остальное.

Столбы голеней, уходящие в жёлтый полумрак.

Ещё выше, там, где потолок мира обрывался краем чего-то белого, — нависало.

Божество.

Оно взирало вниз огромными фасеточными глазами — красными и синими, — с полотнища, которое, судя по всему, являлось частью конструкции. Полотнище обтягивало нечто массивное и уходило вверх, туда, где жёлтый свет совсем слабел. Божество молчало. Руки его были подняты в жесте, который мог означать благословение, а мог — угрозу. С существами такого размера никогда не угадаешь. Впрочем, от полотнища пахло хлопком, потом и стиральным порошком «Лотос», а от божества — типографской краской.

Опасности оно не представляло. Скорее всего.

Настоящая опасность сидела выше. Там, где гудело, булькало и время от времени содрогалось нечто живое, горячее и непредсказуемое. Оттуда же минуту назад пришёл удар, разбудивший щель.

Усы развернулись к выходу.

На кухне, возможно, остались крошки от вчерашнего. Там было привычнее. Там трубы гудели предсказуемо, тараканы

прошлых поколений протоптали тропы вдоль плинтуса, а холодильник «Саратов» подтекал с постоянством, достойным лучшего применения, оставляя у задней стенки маленькую тёплую лужу — единственное место в этой квартире, которое можно было бы назвать уютным, если бы существо знало такое слово.

Оно не знало. Но лужу помнило.

Плинтус. Вдоль. Быстро.

Левый ус — чисто. Правый — чисто. Можно.

Старожил двигался ровно, не отрывая брюха от дерева. Дерево надёжное. Дерево шло вдоль стены с верностью, на которую не способно большинство позвоночных. Местами краска отслоилась, обнажив серую сухую древесину. Под ней, в щели, жил запах — кислый, слоёный, нажитый поколениями подошв и одним случаем с тормозной жидкостью, о котором в коммуналке предпочитали молчать.

Кафель — нет. Кафель — открытая местность. Голый, холодный, шербатый. По кафелю ходят великаны, и великанам плевать, что под подошвой. Фира Адольфовна смотрела. Фи-ра Адольфовна всегда смотрела — под ноги, поверх очков, в суть вещей. Очки держались на носу исключительно силой характера и не падали из уважения.

Но Фиры Адольфовны больше нет. Земля Обетованная. Усатый тему закрыл.

Впереди — шлёпанье. Тяжёлое. Мерное.

Босяк шёл домой. Фи́ра Адольфовна называла его именно так — Босяк — и произносила это с таким выражением, будто хождение без тапок по коммунальному кафелю было личным оскорблением европейской цивилизации, начиная с изобретения домашней обуви. Ступни — голые, розовые, каждая размером с площадь. Пятка била в кафель, и кафель вздрагивал. Без грибка. Без запаха. Скучные ноги. У Фиры Адольфовны пятки пахли лавандой и корвалолом. От Босяка — ничем. Только теплом.

Усатый не одобрял.

Первая дверь. Справа.

Папиросный.

Дым сочился из-под двери жёлтой неторопливой струйкой. Лёг на пол и помер. Едкий, старый, неотличимый от самого деда за дверью — оба жёлтые, оба скрипучие, оба тлеют.

Фи́ра Адольфовна при встрече с Папиросным в коридоре задерживала дыхание с таким видом, будто проходила мимо газовой камеры. Табак она считала пороком низших сословий и сообщала об этом всем в радиусе трёх комнат. Папиросный не обижался. Папиросный не замечал. Он был занят — кашлял. Кашель был давний, обжитой. Они с ним давно договорились и жили вместе, не мешая друг другу.

Плоский прибавил ходу. Дым невкусный.

Вторая дверь.

"Эти двое". "Самец и Самка".

Фира Адольфовна произносила это без имён, без уточнений. Поджимала губы так, что из них можно было выдавить укус. Дальнейших объяснений не требовалось.

Из-под двери лезло пивом, капустой и кислятиной тел, давно махнувших на себя рукой. Телевизор бубнил, как пономарь на сороковой день. Женский голос, навьюченный обидой, тянул ноту: «А я тебе говорила...» Мужской молчал. Мужской давно лежал между диваном и небытием, булькая в банку.

Еда там была. Крошки, корки, пятна. Усатый не заходил. Еда не стоит унижения.

Третья дверь.

Мыло. Шампунь. И ещё что-то. Тёплое. Тяжёлое. Сладкое. Усы дёрнулись и замерли.

Фира Адольфовна для этой двери слов не тратила. Смотрела поверх очков. Молчала. Тишина — красноречивее любого приговора. Потом отворачивалась и поправляла накидку на кушетке — жест, означавший, что данного объекта в её вселенной более не существует.

Усатый унаследовал этот взгляд. Не глазами — усами.

За дверью жило существо. В будни пахло мылом и скукой. По пятницам — духами, потом и чужими запахами, каждый раз новыми. Кровать скрипела. Потом — тишина. Потом —

щелчок замка и чужие шаги. Тяжёлые. Торопливые. Уходящие.

Пятничная мадам. Так Фира Адольфовна всё-таки назвала бы её, если бы снизошла. Но она бы не снизошла.

Четвёртая дверь.

Босые ступни впереди замерли. Повернулись к третьей двери — той, из-под которой тянуло мылом и сладким. Постояли.

Плоский прижался к плинтусу. Наблюдал.

Ступни постояли ещё. Потом шагнули к четвёртой. Дверь открылась. Закрылась.

Фира Адольфовна говорила: «Приличный человек стоит у чужой двери не больше трёх секунд. Всё, что дольше — уже намерение.»

Босяк стоял восемь.

Пятая дверь.

Дальше всех. В конце коридора. Закрытая.

Старожил проходил мимо неё каждый раз. Каждый раз усы поворачивались. Каждый раз — лаванда. Слабая, почти призрачная, тающая по капле, как последние деньги на книжке.

Замок на двери был новый, блестящий, чужой. Племянники повесили. Они приходили дважды в месяц — с людьми. Люди щупали стены, заглядывали в окно, говорили слова:

«метраж», «состояние», «торг уместен». Люди пахли чужим и деловитым. Они ходили по комнате Фиры Адольфовны, не снимая ботинок.

Фира Адольфовна сняла бы с них не только ботинки.

За дверью стояла кушетка с кружевной накидкой. Журнал «Здоровье» на тумбочке. Пыль на подоконнике — ровная, нетронутая, как первый снег. Пахло лавандой и чем-то уходящим. Чем-то, что скоро кончится. Как запах. Как комната. Как всё.

Усатый пролезал туда через щель у плинтуса. Щель была старая, своя, обжитая. Он ложился на привычное место — за ножкой кушетки, где паркет чуть отошёл от стены — и замирал. Иногда надолго. Иногда до утра.

Но сегодня ему туда было не нужно. Сегодня он шёл за Босяком.

Старожил подождал. Двинулся к щели под четвёртой дверью — тонкой, как лезвие.

Парадный вход.

ooo

Море в Рыт-Вине шумело монотонно, как закипающий бульон. Фира Адольфовна спала. И во сне у неё нестерпимо чесалась третья левая нога. Которой, по всем законам анатомии, быть не должно.

Она хотела возмутиться, но вместо возмущения лишь

брезгливо шевельнула правым усом. Усом! Фира Адольфовна опустила взгляд. Шесть рыжих, покрытых волосками лап. Хитиновое брюшко.

«Мамочки мои, — подумала она, холодея. — Я — этот самый мерзавец».

Под лапами ощущался кафель. Щербатый и липкий. Фира Адольфовна повела жвалами, оценивая масштаб катастрофы. Грязь была не её, не историческая. Это была чужая, бес-толковая, наглая грязь людей, которые не знают, зачем им дана швабра.

Впереди возвышались ноги в знакомых стоптанных тап-ках.

«Босьяк, — безошибочно определила Фира Адольфовна, признав Синенького. — И всё так же сидит по ночам в туалете, вместо того чтобы спать, как нормальные люди».

Преодолевая фантомный радикулит, который почему-то теперь отдавал прямо в хитин, она полезла по холодной ржавой трубе вверх. Любопытство всегда было её единственным пороком. На коленях у Босьяка, грея его тощие бедра, лежал ноутбук.

«Левон», — машинально отметила Фира Адольфовна. — «У моего племянника Лёвы в Кол-Добе точно такой же. Только Лёва на нём пишет код и зарабатывает шекели, а этот шлимазл использует хорошую вещь как грелку для простаты».

Фира Адольфовна подобралась к самому краю фаянсовой

бездны и вперила фасеточные глаза в экран. Там мерцала анкета.

«...в равной пропорции смешать кубики пресса с кубиками мозга, а затем растворить в океане безбрежной нежности...»

Фира Адольфовна чуть не поперхнулась воздухом. Какие кубики мозга? У этого поца мозг гладкий, как бильярдный шар в фуражке!

Над головой тускло светил жёлтый плафон. Синенький замер, явно любуясь собой. Внутри него явно распускался павлиний хвост. Фира Адольфовна нервно перебрала передними лапками.

«...и томить на огне желания... добавить щепотку искренности... наслаждаться мной желательно не спеша, и через трубочку...» — Босьяк победно шлёпнул по кнопке.

«Через трубочку он хочет! — бушевала про себя Фира Адольфовна, возмущенно подёргивая усами. — Сидит со спущенными штанами, в два часа ночи, на унитазе! Под ногами валяются трусы с Человеком-пауком — тридцать лет мужику, а у него на заднице Питер Паркер! — а он тут развёл океан нежности!»

В этот момент Синенький вздохнул, оторвался от экрана и потянулся вбок. Рука наткнулась на держатель. Картонная втулка торчала на нём, как пустая катушка от ниток. Бумаги не было.

Фира Адольфовна мстительно и мелко затрясла брюш-

ком, что на языке насекомых означало саркастический смех. Так тебе и надо. Томись на огне желания дальше.

Синенький печально вздохнул. Натянул своего Человека-паука, подхватил ноутбук и, шаркая тапками, шагнул в темноту коммунального коридора.

«Хоть бы руки помыл, эстет недоделанный», — подумала Фира Адольфовна.

В Рыт-Вине громко крикнула чайка, и сон лопнул.

ooo

Свитер висел на стуле, как сдувшийся воздушный шар после чужого праздника. Цвет его когда-то был бежевым, потом стал серым, потом — чем-то средним, для чего в каталогах красок существует термин «грустная овсянка». Размер позволял спрятать внутри небольшого бухгалтера или одну Васю Петелькину вместе с тоской по несбывшемуся.

Вася сидела на кровати и шурилась.

Без очков мир был мягким, размытым и почти терпимым. Шкаф в углу — монументальный, дубовый, переживший революцию, блокаду и три поколения моли — расплывался в тёплое коричневое пятно. Потолок — четыре метра обиженной штукатурки — парил где-то далеко, в пространстве, которое этой комнате было не по рангу и не по карману. Ноты на полу лежали веером, как карты гадалки, предсказавшей одно и то же: бемоль, бемоль, снова бемоль.

Она нащупала очки на тумбочке. Большие. Круглые. В

тёмной оправе, делавшей её лицо меньше, чем оно было, а глаза — больше, чем следовало. В очках Вася Петелькина была похожа на испуганного лемура, забредшего в консерваторию по ошибке.

Без очков она была похожа на кого-то другого. Но без очков её никто не видел. Включая зеркало.

Мир вернулся в резкость. Резкость, как обычно, разочаровала.

— Василиса! Кефир стынет!

Голос из кухни прошёл сквозь стену, коридор и закрытую дверь, не потеряв ни одного децибела. Голос, сорок лет работавший из суфлёрской будки БДТ, не признавал преград. Стены для него были условностью, двери — недоразумением, а глухота внуков — личным оскорблением.

Вася поморщилась. Не от голоса. От «Василисы». Имя было слишком большое. Слишком сказочное. Слишком видимое. Василиса — это для царевен с косой до пояса, а не для Петелькиных в свитере цвета овсянки.

— Иду, ба.

Кефир действительно стыл. Он стыл в стакане на клеёночате столе, рядом с мельхиоровой вилкой, которой бабушка его шамкала.

Именно шамкала. Физически бабушка напоминала забытое в духовке яблоко — крошечная, сморщенная, утонувшая в байковом халате. Собственно, именно эти габариты когда-то и определили её судьбу. В тесную темень суфлёрской

будки Большого Драматического Театра. Куда нормальный человек помещался с трудом, а бабушка проваливалась со свистом: — туалетный ёршик в тоннели метрополитена. Опять не ела, — сказала бабушка. Не спросила. Констатировала. Как суфлёр констатирует, что актёр забыл текст.

— Я позавтракаю в буфете.

— В буфете. — Бабушка произнесла слово «буфет» с таким выражением, будто речь шла о притоне. — В буфете, Василиса, кормят не людей, а статистов. Пей кефир.

Стакан подвинулся к Васе. Или бабушка его подвинула. Или он сам. С бабушкиной кухни предметы имели привычку перемещаться в нужном направлении.

Вася взяла стакан. Сделала глоток. Кефир был кислый, честный, с характером. Бабушкин кефир не признавал сахара. Сахар — для тех, кому нужно подсластить действительность. Бабушке действительность и без сахара была вполне по зубам.

— Спину выпрями.

Вася выпрямила.

— Очки протри. Грязные.

Вася протёрла. Краем свитера. Бабушка проследила за этим жестом с лицом режиссёра, наблюдающего, как его лучшая актриса сморкается в занавес.

— Смычок взяла?

— Взяла, ба.

— Канифоль?

— Да.

— Шарф?

— Бабушка.

— Пауза, — сказала бабушка и подняла вилку. — Не перебивай суфлёра.

Вилка совершила очередное погружение в кефир. Бабушка процедила белые комочки через частокोल десен. Проглотила. Посмотрела на Васю поверх стакана.

— Ты опять будешь сидеть в последнем ряду.

Это тоже не было вопросом.

— Я сижу там, где свободно.

— Свободно, — повторила бабушка, — в последнем ряду всегда свободно. Потому что из последнего ряда никто не слышит. А кого не слышат — того нет. Запомни это, Василис. Тебе Фира Адольфовна что говорила?

Вася замерла. Стакан в руке стал тяжелее.

Фира Адольфовна говорила много чего. Фира Адольфовна говорила так, что стены коммуналки на Фонтанке вздрагивали и просили пощады. Фира Адольфовна била линейкой по пальцам — не больно, но точно, — и каждый удар означал: «Ты можешь лучше, и мы обе это знаем, так какого чёрта».

Потом — чай. С курагой. В тонких стаканах с подстаканниками. Фира Адольфовна пила чай и молчала, и это молчание стоило дороже всех похвал, потому что означало: на сегодня я тобой довольна, но не вздумай расслабляться.

— Она говорила: «Играй так, будто от этого зависит, дадут тебе сегодня ужин или нет», — тихо сказала Вася.

— Вот именно, — бабушка воткнула вилку в стакан. — А ты играешь так, будто ужин уже дали и можно не стараться. Первый ряд, Василиса. Первый.

Вася допила кефир. Поставила стакан. Натянула свитер — тот самый, серо-овсяный, бездонный. Влезла в ботинки — горчично-бурые, тупоносые, купленные бабушкой со словами «зато лужи не страшны». Лужи были не страшны. Мужчины — тоже. В этих ботинках Вася Петелькина была защищена от внешнего мира надёжнее, чем крейсер «Аврора» от abordaжа.

Скрипичный футляр стоял у двери. Чёрный, потёртый, с царапиной на боку, похожей на кардиограмму. Внутри лежала скрипка — единственный предмет в жизни Васи Петелькиной, который точно знал, что она существует.

Вася взяла футляр. Открыла дверь. Шагнула на лестницу. Лестница была широкая, парадная, с чугунными перилами и мраморными ступенями, которые помнили шаги людей поважнее. Вася спускалась тихо, прижимаясь к стене, как будто извинялась перед лестницей за своё присутствие.

На втором этаже сосед — лысый, в майке, с газетой — столкнулся с ней нос к носу. Посмотрел сквозь. Отвернулся к почтовому ящику. Вася прошла мимо. Сосед не заметил. Газета в его руках тоже не заметила. Почтовый ящик — тем более.

На улице было серо, мокро и декабрьски. Город не обратил на Васю Петелькину никакого внимания. Он был занят — готовился к Новому году и ему было не до петелькиных.

Вася шла к трамвайной остановке, прижимая футляр к боку, как раненого товарища. Свитер парусил на ветру. Очки запотевали. Ботинки месили слякоть с невозмутимостью, за которую были куплены.

На остановке стояли люди. Вася встала с краю. Как всегда. С краю — значит, в последнем ряду. Последний ряд преследовал её повсюду. В консерватории, на остановке, в жизни. Она занимала его автоматически, как вода занимает самую низкую точку.

Трамвай подошёл. Люди полезли внутрь. Вася полезла последней. Двери закрылись за ней так близко, что прищемили угол футляра. Скрипка внутри тихо звякнула. Обиделась.

— Извини, — прошептала ей Вася.

Никто не услышал. Трамвай поехал.

За окном мелькали дома, вывески, прохожие. Вася смотрела в стекло и видела своё отражение — размытое, полупрозрачное, почти не существующее. Свитер, очки, нос, пятно. Петелькина на изнанке чужого пальто.

Где-то внутри, в том месте, где у нормальных людей живёт уверенность, а у Васи — сквозняк, что-то шевельнулось. Маленькое. Неназванное. Похожее на желание — но такое тихое, что его можно было принять за шум трамвая.

Она хотела, чтобы на неё посмотрели.

Не на скрипку. Не на свитер. Не на очки.

На неё.

Но желание было робким и неопытным. Оно не знало, как себя вести. Оно тут же спряталось обратно, в тёплую привычную тьму, где ему было безопасно.

Трамвай дёрнулся. Остановка «Консерватория». Двери открылись. Вася вышла.

Город не оглянулся

2.

Мандарин лежал на вершине пирамиды с уверенностью вождя, обозревающего подданных. Бока его были безупречно оранжевы. Пупырышки — горды. Он знал себе цену, и цена была написана от руки на картонке, прислонённой к ящику: «Колхидия. Сладкий. 120 р.» По мандарину ползла муха. Она ползла неспешно, по экватору, с видом инспектора, проверяющего качество товара. Зимняя, сонная, выжившая непонятно каким чудом — то ли забыла умереть, то ли принципиально отказалась. Рынок вокруг гудел. Предновогодний, крытый, со стеклянной крышей, сквозь которую серый декабрьский свет сочился скупно, как зарплата в бюджетной организации. Ряды тянулись длинные, людные, заваленные всем, что земля и теплицы могли выдать к празднику. Хурма лежала мягко, влажно, блестела, как нижние губы после борща. Гранаты — сухие, тяжёлые, треснувшие на макушке — скалились красным. Связки кинзы и укропа торчали из вёдер, как букеты для тех, кто разочаровался в роза-

х. Бабки двигались по рядам тяжёлыми крейсерами, рассекая толпу сумками на колёсиках. Сумки были клетчатые, вместительные, с характером. Они ехали впереди хозяек, как тараны, и прохожие расступались с уважением, которое обычно оказывают стихийным бедствиям. Пар стоял над прилавками — от дыхания, от горячего чая в стаканчиках, от кастрюль с варёной кукурузой, чей сладковатый дух смешивался с рыбным, мясным и тем неопределённым духом, который бывает только на рынках и в казармах, — запахом большого скопления людей, каждый из которых уверен, что именно ему должны уступить.

За прилавком в плодоовощном ряду торчал нос.

Нос был выдающийся. Во всех значениях слова. Он существовал отдельно от хозяина — самостоятельная единица, архитектурное излишество, воткнутое в пространство между двумя ящиками мандаринов. Нос жил своей жизнью. Нос имел мнение. Нос краснел на морозе раньше, чем всё остальное, и розовел от торга, как барометр — от давления.

Под носом — рот. Маленький, быстрый, не знающий пауз.

Над носом — колпак. Вязаный, в красную и зелёную полоску, с помпоном на короткой нитке. Натянут по самые глаза с такой решимостью, будто под ним хранилась государственная тайна или, как минимум, последняя надежда на потомство.

Впрочем, так оно и было.

Между носом и колпаком — глаза. Маленькие, быстрые, тёмные. Глаза человека, который считает сдачу, оценивает покупателя и следит за мухой одновременно.

Ниже — турецкая кожаная куртка, потёртая до неопределимого цвета, с карманами, в которых помещалось всё, включая смысл жизни. Под курткой — тело, щуплое и жилистое, из тех тел, которые не кормят, а которые сами кормят всех вокруг.

Всё это, собранное вместе, называлось Гоча.

— Мандарын бэры, дарагая! Сладкий, как пэрвый пацалуй! Колхидия! Настоящий!

Голос выстрелил, и тишина в радиусе трёх прилавков капитулировала немедленно.

Соседний торговец — мрачный дагестанец с хурмой — давно смирился и торговал молча, общаясь с покупателями исключительно кивками, как человек, принявший монашеский обет в зоне боевых действий.

Бабка с клетчатой сумкой остановилась.

— Почём мандарины?

— Сто двадцат, дарагая. Но тэбе — как родной — сто дэсять.

— Сто.

— Дарагая! — Гоча прижал руку к сердцу с таким выражением, будто ему всадили нож. — Сто рублэй — это нэ цэна, это оскорблэние! Я этот мандарын сам растыл! На да-чэ! В тэплыцэ! Своими руками!

Руки были продемонстрированы. Руки были маленькие, жилистые, натруженные. Руки не ввали.

— Сто десять, — сказала бабка.

— Бэры, — сказал Гоча.

Мандарины перекочевали в пакет. Бабка уплыла. Гоча посмотрел ей вслед с нежностью, которую обычно оказывают уходящим деньгам.

Муха, завершив инспекцию, перелетела на гранат. Гранат промолчал. Он был занят — трескался от собственной зрелости.

За прилавком, под ящиком с кинзой, в синем пакете, от которого пахло укропом и заботой, стоял обед. Тamarочка готовила его в шесть утра, пока Гоча грузил ящики в машину, похожую на бледно-голубой сугроб с колёсами и принципиальным несогласием с техосмотром. Обед состоял из лобио в банке, лаваша в полотенце и трёх хинкали, завернутых так бережно, будто внутри них лежали не мясо и бульон, а фамильное серебро.

Тамарочка. Царица.

Гоча про неё не думал. Гоча про неё знал. Это разные вещи. Думать — в голове. Знать — в руках, в рёбрах, в том месте, откуда иногда больно без причины.

Сдобная. Русая. Из детдома. С руками, которые умели всё — крутить банки, месить тесто, класть грелку на живот, когда подступает, — и ничего не просили взамен, кроме одного. Одного, чего он дать не мог. Четыре с половиной года не

мог.

Но об этом Гоча сейчас не думал. Сейчас он торговал.
— Кынза! Укроп! Пэтрушка! Свежая, как утро!

Рынок гудел. Муха ползла. Мандарин лежал на вершине.
День был обычный.

До ночи оставалось восемь часов.

Девять часов вечера. Четверг.

Дверца хлопнула. Кукушка выскочила.

Она выскакивала девять раз в день — строго по расписанию, с точностью, которой позавидовал бы швейцарский банк. Механизм был советский, брежневский, из тех, что делались не для красоты, а для вечности. Шишки на цепочках — тяжёлые, чугунные, их надо было подтягивать раз в сутки. Гоча подтягивал. Каждое утро, перед выходом. Ритуал.

Часы достались квартире. Квартира досталась Тamarочке — государство выдало, как положено сироте, отмотавшей своё по детдомам. Комнаты были пустые. Стены — голые. И только на кухне, на гвозде, вбитом предыдущими жильцами, висели часы с кукушкой. Прежние хозяева увезли всё. Кукушку — оставили. То ли забыли, то ли не посчитали ценностью, то ли кукушка сама отказалась уезжать.

Она видела пустую квартиру. Видела, как вошла Тamarочка — одна, с сумкой, с глазами, в которых стояло то выражение, которое бывает у людей, впервые получивших что-то своё. Видела, как появился Гоча — влетел, а не вошёл, с тремя сумками мандаринов и голосом на весь подъезд. Видела,

как он повесил шторы криво и назвал это евроремонтом.

Видела четыре с половиной года.

Дверца хлопнула. Кукушка спряталась.

На кухне пахло лобии и свежим хлебом. Тamarочка стояла у плиты, помешивая что-то в кастрюле, из которой валил пар — густой, пряный, с характером. Она была крупная, мягкая, в домашнем платье, с русыми волосами, убранными в хвост. Руки двигались уверенно. Руки всегда двигались уверенно. Руки знали, что делать, даже когда голова не знала.

Гоча сидел за столом. Маленький, тихий. После рынка он всегда был тихий первые двадцать минут. Рынок выкачивал из него все децибелы, и вечером Гоча существовал на холостом ходу, как мотор, который заглушили, но он ещё тикает.

На руки ему запрыгнул кот. Рыжий, с обрубком вместо хвоста. Центурий. Он приземлился на колени с точностью десантника и немедленно включил мурчание — густое, утробное, слышное через две комнаты.

— Што прышол? Жрат хочэш?

Гоча почесал кота за ухом. Кот прищурился. Тamarочка обернулась, улыбнулась — привычно, тепло, краем рта — и повернулась обратно к плите.

Хорошо.

Кастрюля булькала. Кот мурчал. Тamarочка помешивала. За окном — декабрь, темнота, и где-то внизу, во дворе, чья-то сигнализация коротко взвыла и замолкла, будто ей стало

стыдно.

Хорошо.

Дверца хлопнула. Десять часов. Кукушка выскочила, посмотрела на кухню: Гоча ест, Тамарочка напротив, подперла щёку рукой, смотрит, как он ест. Центурий на подоконнике, вылизывает обрубок.

Кукушка спряталась. Дверца хлопнула.

Одиннадцать.

Кукушка выскочила.

Кухня пуста. Свет выключен. Кастрюля на плите — остывшая, накрытая крышкой. Центурий спит на табуретке, свернувшись вокруг обрубка, как вокруг утраченного.

Из спальни — тихо. Потом — скрип кровати. Потом — опять тихо. Потом — негромкий, глухой, утробный ритм, который повторяется каждую ночь, кроме тех, когда звонит мама из Грузии или когда у Тамарочки дни. Ритм привычный. Ритм надеющийся. Ритм, в котором четыре с половиной года — и ничего.

На голове у Гочи — колпак. С помпоном. В красную и зелёную полоску. Потому что где-то в далёкой горной Шотландии есть поверье. А под матрасом — его трусы, вывернутые наизнанку. Потому что так надо. Потому что Бесо — «сын любимой жены» — должен прийти.

Кукушка это видела каждую ночь. Одиннадцать, скрип, колпак, тишина.

Дверца хлопнула. Кукушка спряталась. До полуночи — час.

Полночь.

Дверца заскрипела. Кукушка вышла. Медленно, тяжело — пружина устала, дерево разбухло. Дверца не хлопнула — осталась полуоткрытой, покачиваясь.

Тишина.

Из спальни — ничего. Кровать замолчала. Тamarочка спит. Дышит ровно.

Гоча не спит. Гоча лежит на спине и смотрит в потолок. В темноте видны только белки глаз — два маленьких мокрых блика.

На кухне тикают часы. Кот во сне дёргает лапой — ловит кого-то, кого наяву давно упустил. За окном — ветер. Декабрь.

Гоча лежит и думает о том, что колпак — это глупость. Что трусы под матрасом — глупость. Что Шотландия далеко и понятия не имеет о его проблемах. Что Тamarочка — из детдома. Одна. Совсем одна. И если с ним что-то случится — снова одна. Как была.

Но думает он это не словами. Слов у Гочи для такого нет. Ни грузинских, ни русских. Он думает это рёбрами. Тем местом под рёбрами, откуда иногда больно без причины.

Кукушка висит в полуоткрытой дверце. Качается. Молчит.

До утра — шесть часов. До рынка — семь. До следующей ночи в колпаке — двадцать три.

ooo

Топчан принял тело молча, всем корпусом, без жалоб. Как причал — лодку. Как палуба — матроса.

Доски грубые. Честные. Сосна. Тело, четыре года спавшее на казарменных койках, признавало только такие поверхности. Мягкое — подозрительно. Мягкое расслабляет. А расслабленных бьют первыми.

Руки за голову. Потолок. Жёлтый овал от лампы. Побелка в оспинах мушиных свадеб. Трещина от угла к люстре — ползёт, старается, не добралась.

Ноутбук на полу, тёплый. Переваривает анкету. «Юмба» приняла его — рост, вес, возраст, «о себе: люблю спорт и жизнь» — и отпустила в ночь. Удочка в тёмную воду.

Тихо. Из-за стены алкашей — бу-бу-бу. Привычное. Как прибой для тех, кто живёт на берегу.

Глаза закрылись.

Кого он, собственно, ищет?

Странная штука — желание. Оно не живёт в голове. Голова думает, что командует, составляет списки, выстраивает критерии — рост, вес, цвет глаз, — а желание лежит где-то в животе, тёплое, слепое, бестолковое, как щенок, и ему плевать на списки. Списки придумали люди, которые никогда

не хотели по-настоящему. Или хотели так давно, что забыли, как это — когда всё тело становится одним сплошным «хочу», а голова только мешает.

Сиськи стоячие. Попа упругая. Ноги стройные. Губы полные. Ямочки на щеках. Глаза с поволокой и обязательно бездонные, с обожанием из глубины.

Лозунги. Миру — мир. Попе — упругость. За всё хорошее, против всего плохого.

Топчан под ним молчал. Топчану было всё равно.

А через стенку — всё это было. Прямо сейчас. В наличии.

Стенка — фанера. Обои в цветочек, потерявший и цвет, и смысл. Через неё утром — растворимый кофе и яблочный шампунь. Вечером — тишина. Та тишина, в которой кто-то есть.

Викуся. Двадцать семь. Деревня. Тело, от которого топчан становился жёстче.

Утро. Кухня. Стоит спиной. Халатик — короткий, махровый, протёртый на локтях. Тянется за сахарницей на верхней полке. Халат ползёт вверх. Она знает. Он знает, что она знает. Чайник на плите свистит. Никто не снимает.

Коридор. Вечер. Из ванной. Халат другой — атласный, дешёвый, с пояском, завязанным на один оборот. Плечо голое. Волосы мокрые.

— Привет, Антоша.

Уменьшительное. Как к младшему. Как к безопасному.

Как к тому, кто всегда будет стоять у стенки и мычать.

Он мычал.

В училище, на втором курсе, один старлей — хромой, кривой, с лицом, собранным из осколков двух предыдущих лиц, — сказал курсантам вещь, которую Синенький запомнил навсегда. Не потому что умная. А потому что правда. Старлей сказал: «Самое опасное на войне — не пуля. Пуля — быстро. Самое опасное — ожидание пули. Потому что ожидание — это когда ты сам себе враг. Ты сам себя убиваешь. Медленно. Каждую секунду. И пуля, когда прилетит, — уже милосердие.»

Синенький тогда не понял. Он был на втором курсе и считал себя бессмертным, как положено на втором курсе.

Сейчас — понимал.

Ванная. Щель.

Дверь не доходила до косяка на два пальца. Дерево рассохлось, петли просели. Полотенце можно было повесить. Она не вешала. Она знала про щель. Он знал, что она знала. Она знала, что он знал, что она знала. И не вешала.

Вода шлёпала за дверью — громко, медленно, нарочно. Пар лез в щель. За паром, в жёлтом свете голой лампочки — силуэт. Мокрый. Гладкий. Руки по телу — медленно. Слишком медленно для мытья.

Он стоял в тёмном коридоре и дышал ртом. Сердце — в ушах. Стыд — горячий, мокрый — от ушей до шеи. А ноги

— не двигались. Перешли на сторону противника без предупреждения и переговоров.

Ожидание пули. Каждую секунду. Сам себе враг.

Морпех.

Топчан скрипнул. Синенький перевернулся на бок.

Нет. Не то.

Всё есть. Сиськи, попа, ноги, глаза коровьи с ресницами.

Весь список. Галочка, галочка, галочка.

Но каждую пятницу за стенкой — чужая кровать. Чужой голос. Чужой ритм. А она — та же. И стенка — та же. И он — здесь, с подушкой на голове, считает трещины.

Не потому что грязно. Не потому что платно.

А потому что пусто.

Дед говорил: «Антоха, баба — она как печка. Хорошая печка — греет ровно, долго, и утром в доме тепло. А плохая — пыхнет жаром, обожжёт, а к утру — зола и холод. Ты не на жар смотри. Ты на утро смотри.»

Дед говорил это, сидя на крыльце, в майке, с папиросой, глядя на огород, в котором росло всё, включая философию. Синенький тогда не слушал. Ему было четырнадцать, и он смотрел на жар.

Сейчас ему двадцать пять. И он всё ещё смотрел на жар. Но где-то, на самом дне, под всеми Викусиными халатиками и щелями, под всем этим тёплым, сладким, мокрым — там, где живот кончается и начинается что-то, чему названия нет, — он уже знал. Знал, как знают не головой, а рёбрами,

тем местом под ложечкой, где тоска селится, когда приходит всерьёз.

Ему нужно утро. Не жар.

Что-то, ради чего варят два кофе. Что-то, от чего топчан перестаёт быть просто досками...

... Потолок. Трещина. Мухи.

Глаза закрылись. Топчан держал ровно. Жёстко. Без претензий.

Из комнаты алкашей — тихо. Заснули.

Из комнаты Викуси — тихо. Не пятница.

У правой передней ножки топчана, слившись с линолеумом, сидело маленькое плоское существо.

Усы смотрели строго в экзистенциальную пустоту.

Ожидание.

Босяк спал. Дышал глубоко, с присвистом. Рот приоткрылся, пуская в комнату лишний воздух.

Плоское существо готовилось к научной экспедиции. Оно помнило свою духовную мать.

Фира Адольфовна любила выйти на середину коридора, поправить на груди шаль цвета перезрелого баклажана и обратиться к обоям:

— Я вас умоляю, стенка, скажите мне как интеллигентному человеку: что у этих шлимазлов в головах? Там мозг или позавчерашний форшмак? Сорок лет я живу в этом су-

масшедшем доме, сорок лет я смотрю на этот цирк без антракта, и я ни разу не увидела даже пунктирной линии мыслительной деятельности! Они ходят тут своими ногами, они делают мне нервы, а в голове у них гуляет сквозняк с Петроградской!

Стена обычно молчала, потому что ей было стыдно за жильцов.

А усатый слушал. Он всё запоминал. Он был её единственным наследником по линии плинтуса.

И сегодня он должен был выполнить завет. Найти этот форшмак.

Синенькое ухо было рядом. Тёплое. Открытое. Словно пещера, ведущая к тайнам гойского мироздания.

Левый ус — хрящ. Правый ус — стенка. Между ними зиял узкий, липкий тоннель.

Вздыхнув всем своим хитиновым панцирем, усатый спелеолог двинул шесть лап во мрак...

... Зуд разбудил его.

Не тот зуд, от которого чешут за ухом и засыпают обратно. Другой. Глубокий. Внутренний. Такой, от которого хочется вывернуть голову наизнанку и постирать.

Мизинец нырнул в ухо — привычно, по-солдатски, без разведки. Ноготь был острижен коротко. Вместо того чтобы подцепить незваного гостя, палец протолкнул его глубже.

Хруст.

Объёмный, сочный, прямо посередке головы. Так хрустит

виноградина, если раздавить её внутри кулака. Только кулак — это череп, а виноградина — чья-то задница.

Задница рванула вглубь. Шесть лап рыли ушной канал с прытью бульдозера, застрявшего в просёлке. Под лапами хлюпало. За лапами тянулось что-то мокрое и лопнувшее.

— Су-ка-ааа...

Зззуддд!!!

Зуд был везде. Зудела мельчайшая пылинка, висящая в тишине комнатухи. Зудел жёлтый овал от уличного фонаря на потолке. Зудели снежинки за окном. Зуд вырвался за пределы коммуналки и охватил спиральное созвездие Сомбреро, вместе с остальной галактикой Девы — в совокупности со всеми другими девами, сверхновыми и угасающе-тусклыми, развратными и непочатыми, тёмненькими и светленькими. Зудели все световые года и похотливые тёмные дыры между этими широко раздвинутыми звёздными путями.

Потом — тишина. Резко. Как выключили...

Синенький лежал на топчане в виде буквы «Х». Потолок висел. Трещина ползла. Мухи думали. Всё было на месте.

Синенькому показывали сон. Сон был подробный, липкий и очень настоящий.

Показывали коммунальный унитаз. На унитазе сидел Синенький. Трусы ушли вниз. Время было два часа ночи. На коленях лежал ноутбук и показывал анкету. Анкета обещала океан безбрежной нежности через трубочку.

Трусы на Синеньком были чужие. С Человеком-пауком. Человек-паук смотрел прямо перед собой, подняв руки вверх. Он явно сдавался в плен картонной втулке. Втулка торчала из стены абсолютно голая, как памятник чьей-то беспечности, которой не хватило на один рулон. Бумаги не было. Выхода тоже.

Синенький моргнул и на всякий случай посмотрел себе между ног. Человек-паук исчез. Там цвели нормальные, спокойные цветочки. Свои.

Синенький посмотрел на ноги. Ноги оказались тоже свои. Ногти обстрижены. Пятки вымыты. На полу стояли новые тапки и ждали ступней.

Чуть дальше на полу лежал светящийся «Левон». В нём по-прежнему плескался океан нежности и торчала трубочка.

Синенький почесал затылок. Затылок был на месте.

3.

ooo

Вася носила пальто цвета глухого петербургского двора-колодца. Тяжёлый, глухой драп категорически отказывался иметь талию. В таком пальто можно было стоять у кирпичной стены сутками, и собаки мочились бы на твои ботинки, принимая тебя за архитектурный выступ. Вася любила это пальто. Оно было надёжным, как бомбоубежище.

Она вошла в фойе.

Гардеробщик был сухим, как прошлогодний каштан. У

него не было лица — только руки и латунные номерки. Он давно перестал смотреть людям в глаза, классифицируя все-ленную исключительно по пуговицам верхней одежды. Тяжёлая костяная пуговица вызывала у него академическое уважение. Перламутровая — сдержанный трепет.

Но если на куртке обнаруживалась застёжка-молния, гардеробщик каменел.

Молнию он считал венерическим заболеванием текстиля. Быстрый, развратный звук вжимающей «змейки» оскорблял его эстетически и физически. Человек на молнии для гардеробщика переставал существовать, мгновенно проваливаясь куда-то под линолеум. Каштан брал такие куртки брезгливо, двумя щипковыми пальцами, как дохлую крысу, и вешал в самый дальний, тёмный угол.

Васино драповое пальто застёгивалось на шесть глухих, матовых пуговиц. Они не были огромными, но почему-то безошибочно ассоциировались с тяжелыми, стёсанными булыжниками мощёной мостовой девятнадцатого века. Казалось, если такую пуговицу оторвать и бросить в Неву, она проломит ледовый панцирь и уйдёт на дно с глухим, чугунным звуком.

Вася сняла своё бомбоубежище. Гардеробщик брезгливо понюхал драп. Драп пах безнадежностью и метрополитеном. Каштан одобрительно лязгнул челюстью и выдал Васе круглый кусок латуни с цифрой «84». Восьмёрка была стёрта наполовину и выглядела как тройка.

Вася взяла тройку.

Вася старалась идти по стеночке. Стеночка была спасительной. Она впитывала рикошеты арпеджио и не задавала вопросов. Из-под дверей аудиторий сочилось искусство. Искусство было разлапистым и цветастым. В кабинете напротив пытали Шопеном. Шопен сопротивлялся, брал не те октавы и хрипел басами. На втором этаже хор разучивал радость. Радость выходила строем, в одинаковых юбках, и была пропитана неуверенностью. В коридоре пахло мастикой и чужой гениальностью.

Навстречу Васе по линолеуму двигался монумент.

Замректора по оргработе, Изольда Павловна, состояла из бордового бархата, золотых цепей и государственной важности. Она не ходила. Она воздвигалась на каждом новом метре пространства.

— Петелькина! — Монумент остановился.

Воздух вокруг Изольды Павловны уплотнился и придавил Васю к холодной батарее. Футляр со скрипкой испуганно спрятался за Васину ногу.

— Вы помните о своей задолженности по сольфеджио? — Голос Изольды Павловны падал сверху тяжёлыми бетонными плитами. — Или вы полагаете, Петелькина, что вот эта лепнина... — толстый палец с перстнем ткнул в облупившийся потолок, — ...держится на вашем энтузиазме? Вы дума-

ете, эта красота бесплатна? Государство тратит киловатты! Государство отапливает ваши бездарные экзерсисы!

Свитер цвета «грустной овсянки» немедленно начал спасательную операцию. Колючая горловина поползла вверх.

Васина голова медленно уходила в плечи. Сначала под шерстью исчез подбородок. Затем губы.

— Я с кем разговариваю? — возвысилась Изольда Павловна, наступая. Золотые цепи на её груди хищно звякнули. — Вы куда прячетесь, Петелькина? Казённое электричество светит не для того, чтобы вы изображали черепаху!

Свитер поглотил Васин нос. Дальше путь колючей шерсти преградила толстая роговая оправка очков. Из-за линз на бордовый бархат смотрел абсолютный ужас.

— Стань трубой! — отчаянно зазвенела алюминиевой вилкой Бабушка из суфлёрской будки. — Сливайся с чугуном!

Но батарея была холодной, а Изольда Павловна — огромной и неотвратимой. Монумент занёс ногу для следующего шага.

И тут в гардеробе тихо позвало по имени драповое пальто. Вася резко выпрямилась. Свитер от удивления съехал вниз, обнажив подбородок.

— Извините, — голос Васи дрогнул, сорвавшись на виноватый шёпот. — У меня... бабушка заболела. Мне надо домой. Извините.

Она развернулась и пошла по коридору — быстро, но ста-

раясь ступать так, чтобы ботинки не скрипели. Это был не бунт. Это была паническая эвакуация.

В фойе Вася подбежала к гардеробу. Она не швырнула номерок. Она аккуратно, двумя пальцами положила латунную тройку на барьер и заискивающе заглянула в глаза гардеробщику.

Сухой каштан брезгливо смахнул номерок в ящик и выдал ей её двор-колодец. Вася нырнула в глухой драп, застегнулась на все пуговицы и выскользнула на крыльцо.

Моросило. Драповое бомбоубежище намокало медленно, с достоинством. Капли скатывались по тяжёлой ткани и падали на тротуар — методично, как из протекающего крана. Ботинки методично отсчитывали шаги. Левый. Правый. Левый. Правый. Они знали дорогу. Вася просто шла мимо. Воротник втянул голову поглубже. Голова втянула в себя мысли. Мысли отражали витрины. Синтетические кофты цвета «бодрого социализма» без голов, топорщились на пластиковых плечах. Головы отказались быть соучастниками и заявили протест. Казённая обречённость смотрела вниз одинаково тускло со всех вывесок. «Оптика». «Ремонт Обуви». «Радуга» — парикмахерская. В окне висел плакат. На плакате женщина улыбалась ядрёно-оранжевой химической завивкой. Губы в улыбке не участвовали. Химзавивка сидела на голове как наказание. Светофор подмигнул. Еще раз. Неуверенно. Желтым. За углом начинался парк. Голые дере-

вья стояли строем, как солдаты в увольнении — формально свободные, но по привычке ровно.

Зоопарк открывался в десять.

... Левый карман брюк дяди Фёдора грубо нарушал мировую симметрию. Он висел значительно ниже правого и с нечеловеческим упрямством тянулся к центру Земли. В кармане лежал Ключ.

Ключ был доисторическим, кованым и весил ровно столько, сколько весит старый чугунный утюг. Ключ был предназначен для большого чёрного замка. Замок удерживал ржавую цепь. Цепь обнимала высокие кованые ворота зоопарка.

Любой добропорядочный зоопарк обязан открываться в десять, чтобы нести просветительскую функцию и радовать детишек. Наш зоопарк нёс и радовал. Делал он это с чувством глубокой обречённости. Ровно в десять. Если только дядя Фёдор не был обречен сильным похмельем.

Пил дядя Фёдор только тогда, когда он пел. Пел он под шестиструнную гитару с вечера, когда на него смотрела Клара. Клара знала как смотреть глубоким экзистенциальным взглядом — так смотрят на человека, который виноват в самом факте своего существования. Таким взглядом Клара смотрела на человека Федора, когда не могла снести.

Вчера Клара снеслась. Гитара промолчала. Фёдор остался сух.

Погода — нет. Моросило.

Ключ вошёл в скважину туго, по-хозяйски. Замок крякнул и неохотно отдал дужку. Ржавая цепь с облегчением сползла в лужу. Ворота расступились, пропуская на территорию морось, просветительскую функцию и ботинки.

Два броненосца рассекали рябые лужи тяжело и неотвратимо, пуская по воде ровную кильватерную струю. Горчишно-бурые, тупоносые и фундаментальные. В этих ботинках можно было принимать торпедную атаку, химическую угрозу и мужское внимание с одинаково нулевым уроном. Они месили декабрьскую слякоть с абсолютной, железобетонной невозмутимостью. Они несли Васю.

Фауна жила за решетками, по обеим сторонам главной аллеи. Она сидела, стояла, лежала и изредко перемещалась из угла в угол. Пряталась или имитировала смерть, чтобы не нести просветительской функции в массы. Строгий режим из прутьев и сеток справлялся и надежно охранял фауну от зла снаружи.

Подмышка чесалась. Нос ковырялся. Вася созерцалась вниз головой. Вольер с мартышками. Три штуки.

Безнадежная проплешина на широком, покато боку демонстрировала свое пренебрежение окружающим. Медведь сидел спиной. Методично раскачивался взад-вперед второй год. На вопрос “зачем” ответить не могли ни он сам, ни Вася.

Вася в своём драповом бомбоубежище подошла к вольеру

№13. На толстых железных прутьях висела старая, ещё советская эмалированная табличка. Краска по краям облупилась, но черные буквы въелись намертво:

СЛОН АФРИКАНСКИЙ (Loxodonta)

Вася смотрела на латынь, но читала её русскими буквами. Получалось честно.

Слон Лох стоял у дальней стены вольера. Он был огромен, сер и состоял из одних только морщин, словно его забыли погладить перед тем, как выпустить в жизнь. В данный момент Лох занимался тем, что кончиком хобота меланхолично катал по бетонному полу одну-единственную, грязную, прошлогоднюю фисташковую скорлупу. В двух шагах от него лежала гора свежей капусты, но Лоху была нужна именно эта бессмысленная скорлупа. Вася прижалась лбом к холодному железному пруту. Очки звякнули о металл.

Слон замер. Он оставил скорлупу, медленно повернул свою монументальную голову и посмотрел на Васю.

У него были маленькие, умные и бесконечно уставшие глаза. В них читалось полное понимание того факта, что он — Лоходонт, она — Петелькина, и задолженность по сольфеджио в масштабах Вселенной не имеет вообще никакого значения.

Вася шмыгнула носом.

— Изольда Павловна сказала, что я транжирю казённое электричество, — тихо пожаловалась Вася.

Слон Лох тяжело вздохнул. Из его хобота вырвался тёп-

лый, влажный порыв воздуха, пахнувший прелым сеном и древней мудростью.

— В природе существует закон сохранения лоховости, — сказала Вася ещё тише, чтобы не услышал декабрьский ветер. — Есть люди-диэлектрики. Они как тефлоновые сковородки — от них всё отскакивает. Любая жизненная сырость, неудачи, чужие косые взгляды — всё соскальзывает мимо. А есть люди-губки. Пористые. С высокой впитываемостью. Я — губка. Только вытягиваю не воду, а дисперсную лоховатость из окружающего пространства.

Слон Лох прикрыл глаза и медленно, с абсолютным пониманием, кивнул монументальной башкой. У него это было официально написано на эмалированной табличке: *Loxodonta*. Он знал о лоховости больше, чем вся Академия Наук.

— Вот приходишь в компанию диэлектриков, — Вася поправила очки. — У каждого свои ментальные кракозябры, мелкие пакости в голове. А потом появляюсь я. Последний ряд. Угол. Стена. Моя внутренняя губка начинает работать. Через полчаса — у них дела пошли в гору. Румяные. Смеются. Звенят тефлоновыми боками. А я выхожу на улицу. Тяжёлая. Пропитанная чужими кракозябрами до самого дна ботинок. Иду и хлюпаю.

Слон глубоко, утробно выдохнул. Затем неторопливо поднял хобот и гулко, с оттяжкой, шлёпнул себя по огромному, пыльному серому боку. Хлоп. И по другому. Хлоп. Звук был

такой, словно выбивали старый ватный матрас, на котором выпалась вся коммуналка.

Смотри, какой я. Смотри, сколько впитал. Я — Лоходонт. Во мне три тонны чистой, концентрированной чужой лажи. Твои ботинки — мелочь. Я фильтрую этот город с шестидесяти второго года.

Вася шмыгнула носом. Сквозняк в душе утих. Рядом с резервуаром такого объёма было странным образом уютно.

Вася вцепилась зубами в толстый палец колючей шерстяной варежки и стянула её с руки. Она положила голые, замёрзшие пальцы на ледяной прут решётки.

Лох поднял хобот, нащупал её руку и осторожно, почти невесомо, похлопал по костяшкам. Его кожа была горячее, шершавой и напоминала старый театральный занавес, который наконец-то ни от кого не прятал сцену.

Они постояли так ещё минуту: человек с правильным слухом и слон с кривым зубом.

Потом Вася надела варежку и пошла домой.

Зоопарк остался за спиной. Слон тоже.

Он парил на ниточке за спиной. Сзади и выше.

Ниточка была привязана к третьей пуговице Васиного пальто.

Слон не топал и не шлёпал. Он стал невесомым фактом биографии. Он висел над головой огромным, серо-ушастым дирижаблем, занимая собой всё небо между фонарями и

мокрыми крышами.

Вася шла аккуратно, чтобы не зацепить его хоботом за троллейбусные провода.

До дома оставалось два перекрестка и один Гастроном.

Гастроном смотрел на улицу мутными, немытыми витринами.

Вася толкнула тугую дверь.

Слон-шарик чуть замешкался на входе. Он мягко спружинил боками о косяк, сжался, просочился внутрь и тут же расправился под потолком, заняв всё пространство над полками с крупами.

Внутри пахло картонными коробками и тоской.

Слон сверху с интересом разглядывал пирамиды консервов. Ему было тепло и видно всё.

Вася пошла в молочный отдел. Она шла тихо, стараясь не дергать за невидимую ниточку слишком сильно.

Кефир стоял в самом углу.

Зелёные пакеты выстроились в шеренгу, как детсадовцы на прививку. Вася знала: нужен тот, сегодняшний.

Вася протянула руку.

Пакет был холодным и категоричным. «3.2%» — было написано на боку шрифтом, не терпящим возражений.

— Будешь честным? — шепотом спросила Вася, поглядывая вверх, на Слона.

Слон под потолком одобрительно качнулся, задев люми-

несцентную лампу. Лампа мигнула, соглашаясь.

Это был суровый, кефир “ Невский”. Он не обещал райского наслаждения, но гарантировал кальций, живую бактерию и чувство выполненного долга перед бабушкой.

Потом Вася подошла к хлебному.

Там, под стеклом, лежал коржик. Молочный коржик “Гранитный”, за двенадцать рублей.

Он был круглым, плоским и бледным, как лицо самой Васи в пасмурный день.

Коржик смотрел на Васю с пониманием. Они были родственниками по линии «грустной овсянки».

— И тебя, — решила Вася. — Слон, ты будешь коржик?

Слон протрубил Васе, что коржики — это достойная еда для летучих существ.

Вася подошла к кассе.

На кассе сидел Слон.

Вася опасливо покосилась вверх, на своего. Нет. Её слон был на месте.

У Слона за кассой не было веревочки, но был синий халат, калькулятор и груди.

Они лежали на ленте транспортера, занимая всё стратегическое пространство.

— Пакет ннада? — спросил Слон в халате.

Васин слон выдохнул сверху, через хобот струю тёплого воздуха.

Грудь замерла. Принюхались. Пахнуло сеном.
Но тут пикнул сканер. Наваждение исчезло...

... — Ты не влезешь, — сказала Вася. — Ты — Африка,
а у нас — суфлёрская будка.

Слон грустно зашуршал боком об воздух. Он был согласен.

— Жалко, что бабушка не работала в слоновнике, — сказала Вася. — Слоновник больше, чем будка.

Она разжала ладонь.

Слон, почувствовав свободу, рванул в серое небо.

Атланты синхронно повернули отбитые носы и проводили его долгим, завистливым взглядом.

Им тоже хотелось в небо, но у них был ипотечный долг перед гравитацией.

Они держали балкон второго этажа.

На балкон по утрам выходил курить в кальсонах директор треста «НевСтеклоТара».

Директор был тяжелее Слона и Африки.

Атланты синхронно выдохнули и сгруппировались — посыпалась штукатурка. Балкон устоял.

Она осталась одна и шагнула вовнутрь.

Ботинки подняли Васю на третий этаж.

Остановились, уткнувшись тупыми носами в дерматин цвета засохшей вишни. Латунная овальная нашлапка с позеленевшим от злости и недостатка солнечного света номером

13 смотрела сверху с прищуром. Осуждающе.

Горчично-бурый на фоне вишневого смотрелся... как плесень на варенье.

Вася вздохнула.

Вася толкнула дверь. Дерматин цвета засохшей вишни принял её обратно без вопросов — он давно перестал удивляться.

В прихожей пахло кефиром и чужой биографией.

Она разулась. Горчично-бурые буксиры пришвартовались у порога — симметрично, носами к двери, как будто ещё не решили, уходить или оставаться. Пальто повисло на крючке и сразу стало похоже на эвакуированного жильца, которому не сказали, когда можно вернуться.

Бабушкина дверь была закрыта. Из-за неё доносилось ровное дыхание послеобеденного сна — тихое, но с профессиональной проекцией.

Вася прошла к себе.

На подоконнике стоял горшок. В горшке, в земле, где на праздник 50-летия Октября умерла герань, торчал камертон. Стальные рожки поймали серый декабрьский свет и не знали, что с ним делать.

Вася взяла леечку. Маленькую, жестяную, с облупившимся утёнком на боку. Наклонила над горшком. Вода с тихим шипением ушла в мёртвую землю.

— Я сегодня была у слона, — сказала Вася совершенно нормальным голосом.

— У Лоходонта. Он похлопал меня по руке хоботом.

Тёплый такой. Шершавый. Она стряхнула последнюю каплю.

— И знаешь, я вышла оттуда с таким чувством...

— Вася помолчала, подбирая слово.

— Как будто кто-то большой и очень старый сказал тебе, что всё нормально. Без слов сказал.

Просто фактом своего существования.

Я так и несла это до самого дома. До парадной.

Она поставила леечку на подоконник.

— А потом вошла. И всё.

— Изольда Павловна сказала, что я транжирю казённое электричество. — Вася стряхнула последнюю каплю с лейки. — Наверное, она права. Я даже слонов завожу за государственный счёт.

Она взяла камертон двумя пальцами и тихонько щёлкнула по рожке. Чистая нота «ля» поплыла по комнате — ровная, холодная, абсолютно уверенная в себе.

Вася послушала, пока она не затихла.

— Со мной всё в порядке, — сказала она камертону. — Просто уточняю.

Камертон подтвердил это своим молчанием.

В.А. Моцарт. «Реквием». Лакримоза. Партия первой скрипки.

На полях, между вторым и третьим станом, торопливым

карандашом:

«Отчёт за сегодня. Кефир принят внутрь под конвоем. Алюминиевая вилка присутствовала. Трамвай №13 перевозил граждан в направлении культуры. Гражданка Петелькина слилась с поручнем. Поручень не возражал. В консерватории монумент Изольда Павловна произвела артиллерийский обстрел казённым электричеством. Потери: достоинство, явка, один батон нарезного (положен сквозь меня в булочной, не заметили). Слон Лоходонт принял жалобу. Выслушал. Похлопал. Отпущен в небо у парадной ввиду несовместимости с суфлёрской будкой.

Статус: Идеальный Вакуум. Систем сбоев не обнаружено. Комета пролетела зря.

4.

Кухня. Шесть утра. Тихо.

Старожил сидел за трубой. Труба была тёплая, ржавая, надёжная. Из-за неё кухня просматривалась целиком — от газовой плиты с четырьмя конфорками, из которых работали две с половиной, до окна, затянутого инеем, сквозь который декабрь давил серой мутью.

Правый ус Старожила демонстрировал тяжелый посттравматический птоз. Ночью он ходил в правое ухо Босяка. Искал прошлогодний форшмак и чужие мысли.

Внутри гулял сквозняк и пахло серой. Форшмака не было. Мысли отсутствовали.

А потом пришёл мизинец. Старожилу пришлось ретироваться. Но фиаско он не признал. В коммуналке уши росли на каждом жильце.

На полке над плитой стояли чайники. Четыре штуки. У каждого — свой характер, своя конфорка, своя территория. Эмалированный белый с васильками — Папиросного. Алюминиевый, мятый, с чёрным донцем — Этих Двоих. Электрический, розовый, пластиковый, с остатками наклейки — Пятничной мадам. И железная кружка-турка, армейская, без ручки, обмотанная изолентой, — Босяка.

Фира Адольфовна кипятила воду в эмалированном ковшике, отдельно, ни с кем не смешиваясь. Ковшик уехал. Гвоздь, на котором он висел, остался. Пустой.

Крошка лежала у плинтуса. Хлебная. Вчерашняя. Чёрствая, но достойная. Усатый работал над ней методично, без спешки. Утро — время тихое. Можно есть спокойно.

Шлёпанье.

Босяк. Один. Рано.

Усатый замер. Ус вперёд. Наблюдение.

Ступни — голые, розовые, тёплые — прошли от двери к плите. Рука сняла с полки армейскую турку. Поставила на конфорку. Щёлкнула газом. Синий огонёк вцепился в донце с преданностью, которая бывает только у пламени и собак.

Босяк полез на верхнюю полку. Банка кофе — жестяная, дешёвая, с надписью, обещавшей «бодрость и аромат». Банка не врала — бодрость была, аромат был, но оба настолько

дешёвые, что Фира Адольфовна при жизни отвернулась бы к стене.

Босяк заглянул внутрь. На дне — бурый порошок. Остатки. Ложка поскребла по жести — звук тоскливый, скуповой, финальный.

Босяк постоял с банкой. Посмотрел внутрь ещё раз, будто кофе мог размножиться от повторного взгляда. Не размножился.

Из-за трубы усатый наблюдал. У Фиры Адольфовны кофе никогда не кончался. Фира Адольфовна покупала «Чибо» в жёлтой пачке, молола сама и хранила в фарфоровой банке с крышкой. Крышка закрывалась с тихим чмоком. Босяк хранил свой кофе в жестянке, которая закрывалась со скрежетом. Разница в звуке — разница в судьбе.

Босяк сел на табуретку. Одну из двух. Сел тяжело, как будто понедельник уже навалился на плечи, хотя ещё даже не начался. Турка на конфорке зашипела. Босяк смотрел в окно. За окном — ничего. Серый двор, серое небо, серая кошка на серой крыше сарая.

«Надо брать», — сказал Босяк банке. Банка промолчала. Она была пуста и потеряла интерес к диалогу.

Потом — другое шлёпанье. Тяжёлое. Мокрое. Шаркающее. Не ступни — подошвы. Тапки, протёртые до состояния войлочной идеи.

Мужской из Этих Двоих.

Фира Адольфовна называла их просто — Самец и Самка.

Произносила через губу, как диагноз. Зоологический Усатый прижался к трубе. Наблюдение.

Вошёл. Серый. Мятый. Лицо — вчерашнее. Глаза — позавчерашние. На нём была майка, которая помнила лучшие времена, и трико, которое не помнило ничего. Он не посмотрел на Босяка. Он не посмотрел ни на что. Он шёл к раковине, как лунатик к обрыву, — прямо, слепо, неостановимо.

Кран взвизгнул. Вода ударила в железную раковину. Мужской сунул голову под струю — целиком, не разбирая — и держал, пока из горла не вырвался звук, средний между хрипом и облегчением.

Потом выпрямился. Вода стекала с лица, с волос, с носа, капала на майку. Глаза — чуть живее, чем минуту назад. На полградуса.

Он повернулся. Увидел плиту. Увидел турку. Потянулся к ней.

Босяк поднял глаза.

— Моя, — сказал тихо.

Самец убрал руку. Медленно. Не от страха — от нехватки энергии на конфликт. Потянулся к своему чайнику — алюминиевому, мятому, с чёрным донцем. Поставил на соседнюю конфорку. Щёлкнул газом. Не с первого раза. Не со второго. С третьего — пошёл.

Сел. Каждый — на своей половине кухни. Босяк — у окна. Самец — у двери. Между ними — три метра кафеля, газовая плита и молчание, привычное, как обои.

Фира Адольфовна говорила: «Если утром мужчина молчит — он или думает, или умер. Отличить можно по запаху.»

Самец источал. Но не думал. Фира Адольфовна такого варианта не предусмотрела.

Усатый вернулся к крошке. Крошка подождала. Крошка никуда не спешила.

Третье шлёпанье. Лёгкое. Мягкое. Розовые тапки.

Усатый перестал жевать. Ус вперёд.

Пятничная.

Сегодня был понедельник. Усатый знал это по крошкам — понедельничные крошки всегда чёрствее. Пятничная по понедельникам была понедельничной. Другой.

Вошла медленно, но не так, как обычно — не напоказ, не с разворотом. Вошла как ходят к себе на кухню, когда никого не ждёшь. Халат — тот же, махровый, но запахнут плотно, по-зимнему, без зазоров. Волосы — не собраны, не уложены, а просто висели, как забыли куда деться. Лицо — голое. Без краски, без губ, без ресниц. Другое лицо. Младше и проще. Круглое, чуть отёчное со сна, с маленьким прыщиком на подбородке, который днём будет спрятан, а сейчас торчал честно, как единственный, кто не притворяется.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.